

*Здесь Некто есть. Здесь рыщет
Некто черный...*

Хаим Нахман Бялик. Сказание о погроме
(пер. В.Е. Жаботинского)

Каждый раз, когда где-то неподалеку слышится звон разбитого стекла, ты мысленно удивляешься: неужели в городе еще остались целые витрины и окна? Эти хрупкие преграды между порядком и хаосом сдаются первыми, проливаясь на мостовую, на дощатый тротуар и грязь сверкающим дождем, и какая-то часть тебя – глубинная, темная – думает, что это красиво.

Проходя мимо разгромленной и как будто опустевшей бакалейной лавки, ты замечаешь, что внутри, словно крысы в куче мусора, продолжают копошиться трое. Они нашли запертую кассу и теперь пытаются ее вскрыть – возятся с замком, пыхтят и сквернословят. Ты улыбаешься краем рта: эти штуковины сделаны на совесть, трудиться предстоит час, а то и больше. Впрочем, этой троице никто не помешает – может, и помощники найдутся.

Увидев тебя, они ненадолго прекращают свое занятие и смотрят вслед, одновременно поворачивая треугольные морды с пылающими алыми глазами, словно три одинаковых игрушечных болвана. Им хочется погнаться за тобой, затащить в пещеру

какого-нибудь опустошенного магазина, дать волю звериным инстинктам...

Но нельзя, ибо ты *отмечена*.

И поэтому ты идешь дальше, как будто не принадлежа этому городу резни.

* * *

В первый раз Сара видит Змея в ночь на среду, когда лежит без сна в своей постели, от мартовской прохлады укрывшись одеялом до самого носа и вдыхая горьковатый аромат сухой лаванды, которую тетушка Фейга хранит в шкафу с постельным бельем.

Комната Сары – самая маленькая в их с отцом квартире на втором этаже дома по улице Шмидтовской – окнами выходит во двор, где растет огромная старая липа. Последний снег растаял еще на прошлой неделе, но теперь девочка почему-то видит белый и пушистый покров на ветках; кое-где к тому же печально повисли обрывки ткани и бумаги, причем у последних обгоревшие края, словно кто-то с крыши разбросал все, что осталось от уничтоженной книги.

Змей сидит на подоконнике, и в полумраке блестят, как рубины, его глаза, все три. Одет он во что-то темное и мешковатое; на плечи падают черные кудри; из-под края хламиды выглядывают паль-

цы босых ног. А лицо... почему-то, кроме глаз, Сара ничего не видит, и это странно: ведь она разглядела вырванные из книги листья на ветках липы снаружи, должна бы и черты незваного гостя рассмотреть. Но кажется, что она смотрит на него сквозь взбаламученную лужу.

– Я так долго тебя искал, – говорит Змей и протягивает руку. – Идем со мной.

Воздух в комнате внезапно становится едким, ядовитым, словно его подменяет дым, и сердце Сары начинает колотиться от страха вдвое быстрее. Змей все еще тянет руку, и в мутной круговерти вокруг его третьего глаза постепенно проступает чешуйчатая серая кожа, туго обтягивающая безбровый лоб.

Сара безуспешно пытается вдохнуть; с каждой новой попыткой отравленный воздух обжигает легкие, и в конце концов они склеиваются внутри, как будто наполнившись черной смолой. Из углов комнаты подступает тьма, пожирает обстановку и саму ткань мира, а потом вдруг давится невесть откуда взявшейся деревянной фигуркой птицы, стоящей на комод, и от этой запинки девочка успевает... проснуться.

Герш Белицкий с дочкой Сарой и незамужней младшей сестрой Фейгой приехали в Кишинев пять лет назад из Одессы, пожив до этого в нескольких городишках Киевской губернии. О том, что на улице Шмидтовской появился новый портной, скоро узнали все; еще через год он стал знаменитым и обзавелся достаточным количеством постоянных клиентов и клиенток, чтобы не переживать о будущем своей маленькой семьи. Когда сосед, лавочник Мойше Коган, намекал на правах друга, что предприимчивому молодому человеку стоило бы не вести себя, словно какой-нибудь *цилэйгер* или тем более *клоц*, а расширить дело – взять помощниц, например, да и вывеску нарисовать поярче, – Герш устремлял на него печальный взгляд больших глаз, окруженных преждевременными морщинами, и отвечал, что возможность лишний час провести с книгой для него важнее лишнего куска мяса, и Сара с Фейгой того же мнения.

Они действительно много читали – зная восемь языков на троих, по вечерам пересказывали друг другу повести и романы, которые Герш постоянно заказывал у местных торговцев или выписывал прямо из-за границы. К тринадцати годам Сара была начитанней не только всех своих сверстников, вместе взятых, но и большинства учительниц в женской гимназии сестер Гинкуловых. Впрочем, об этом мало

кто догадывался: молчаливая дочь портного своими знаниями никогда не кичилась. Из-за этого – а еще из-за склонности так глубоко погружаться в мечты, что привести ее в чувство мог зачастую лишь удар учительской линейкой по столу, а то и по пальцам, – Сара по успеваемости была лишь второй в классе.

Сама Сара Белицкая была похожа на отца – щуплая, маленькая, с длинноватым носом и огромными серыми глазами, которые казались еще больше, когда она мыслями уносилась в другие края и времени, переставая моргать. Просто милая, слегка неуклюжая девочка с густыми черными волосами, которые Фейга заплетала в две косы и укладывала венцом.

– Фейга и *фейгеле*, – говорил Герш. – Мои птички-ангелочки.

– Со мной-то все ясно, – добродушно ворчала тетушка, встряхивая собственными косами. – А вот другая птичка рано или поздно расправит крылышки и все – *зай мир гезунд!*

Отец в ответ только смеялся.

На уроках Сара никак не может сосредоточиться: над математическими уравнениями размышляет так долго и усиленно, словно икс и игрек таят в себе принцип не менее важный, чем один из постулатов Рамбама, и ошибиться в решении означает упустить свой единственный шанс на постижение великой истины. А потом стоит перед картой Российской империи, где надобно отыскать озеро Балхаш, но видит лишь волны, пробегающие по этой карте, словно по шкуре какого-нибудь испуганного животного, и с каждой волной знакомые границы все сильнее смещаются, территория дробится и меняет цвет, с разных сторон на нее то наползает, то отступает тьма...

Странно, что никто другой этого не замечает.

– Белицкая, ну же, быстрее, – раздраженным голосом требует учительница, госпожа Кенигшац, и смотрит на Сару поверх очков. – Можно подумать, я велела указать, где живут потерянные колена Израилевы.

В одном она права: надо быстрее с этим покончить. Сара тыкает указкой наугад, попадает в Байкал, получает предсказуемую оценку и возвращается за парту, потупившись, хотя на самом деле не слышит ни слова из язвительной тирады Кенигшац про чересчур самонадеянных учениц, которым стоило бы помнить про экзамены. Шепот и встревоженные взгляды подружек текут мимо нее, как вода. Она вспоминает сон... да, все-таки сон.

Она думает про Змея.

Прежде всего, почему она убеждена, что этого... *это существо* следует называть именно так? Явившийся во сне незваный гость выглядел вполне человекомподобным, невзирая на третий глаз и странные одежды. И чешую. Да, чешую – но слово «Змей» всплыло в разуме Сары до того, как та проявилась, пусть на логику и последовательность событий во сне и нельзя положиться всерьез.

Ладно бы он предложил ей яблоко, а не просто протянул руку...

Так, в раздумьях, она возвращается домой сперва в компании девочек, потом одна; бредет мимо гостиницы «Лондон» и синагоги, через некоторое время начинает машинально здороваться по пути со всеми соседями и знакомыми, а потом оказывается возле родного дома. Ненадолго замирает у крыльца. На улице деревья сплошь молодые, их тоненькие веточки покрыты бледно-зеленой листвой, которая кажется слишком нежной для этой холодной весны... или, может, Сара просто заболела, ее знобит? Это бы объяснило странный сон и не менее странные блуждания по коридорам разума.

Книги и тетради – в ящик стола. Переодеться в домашнее платье. Фейга ушла на рынок, когда вернется – обязательно попросит помочь с ужином, но еще до того для нее найдутся дела. В приоткрытой двери отцовского кабинета – самой большой комнаты в их квартире, но не потому, что ему требуется для работы много места, а чтобы произвести впечатление на клиентов – виден привезенный из самого Киева манекен, к которому приколот изысканным образом задрапированный лоскут шифона; так Герш Белицкий прячет некрасивое пятно на «теле» своего бессловесного, истыканного булавками помощника. Мог бы его заменить, но, как сам признается, с годами стал сентиментальным и мысль о том, чтобы отплатить за верную службу черной неблагодарностью, вызывает у него дрожь.

Значит, они ждут гостя – или гостью, ведь Белицкий, как правило, шьет для дам.

Сара тихонько пробирается в ателье – и впрямь достаточно просторное, чтобы вместить одну-двух помощниц, про которых не устают говорить Мойше Коган, скорее всего, намекая на свою старшую дочь Иту; отец не сразу ее замечает – слишком увлечен сортировкой пуговиц. Потом он улыбается с привычной отрешенностью человека, думающего о важном деле, и рассказывает, в чем дело: вскоре должна прийти новая клиентка, некая *доamna* – то есть госпожа – Ана Шерпеску, жена богатого торговца антиквариатом из Бухареста, еще в январе

приехавшая в Кишинев погостить у родственников. Дело ее мужа процветает, поэтому доamna Шерпеску большую часть года проводит то в Вене, то в Париже, то в Лондоне... словом, запросы у нее наверняка будут необычные.

– Но ты же справишься, – уверенно говорит Сара, и отец без тени сомнения заверяет, что да, ему по плечу и лондонские, и парижские модные причуды – вместе с книгами он постоянно заказывал и сообразные профессии журналы, знал все модные дома Европы и модельеров, которые ими заведовали, – только вот смутная тревога из его глаз никуда не исчезает. Сара понимает, что ошиблась с ее природой. Дело не в этой Шерпеску, какой бы придирчивой клиенткой она ни оказалась.

Он от нее что-то скрывает.

Разбираться нет времени, гостя уже пришла – за дверью слышен пронзительный голос Рахиль Коган: «Да-да, господин Белицкий живет здесь, вам сюда!» Сара смотрит на отца, тот с виноватым видом пожимает плечами – дескать, работа, сама понимаешь. Он быстро сгребает наполовину рассортированные пуговицы в жестяную коробочку, уничтожая тем самым плоды своего труда, и складывает газету, на которой они лежали. Сара успевает заметить подчеркнутые красным карандашом строки и даже прочитать несколько слов: «анилин», «фуксин», «евреи губят ви...».

Еще она видит заголовок газеты: «Бессарабец». Отец обычно читал «Бессарабские губернские ведомости», на худой конец – одесские «Новости» и «Листок», а эту не покупал и морщил нос, если видел ее где-нибудь.

– Что такое *фуксин*?

– Краска, – спокойно отвечает дочери Герш Белицкий. – Красная краска с сиреневатым оттенком. Как разбавленное вино.

Девочка по-прежнему ничего не понимает – с какой стати евреям губить вино? – однако теперь уж точно приходится отложить все разговоры: стучат в дверь, а потом бесцеремонная Рахиль Коган открывает ее и заводит в квартиру к соседу гостью; точнее, гостей.

Доamna Шерпеску довольно высокого роста, а из-за шляпки кажется еще выше, но в первую очередь Сара замечает, что клиентке, наверное, под шестьдесят – и это немного странно, ведь обычно о нарядах думают более молодые дамы. Степенные матери и бабушки семейств одеваются более строго и не так уж сильно следят за модой, чаще высказываясь о ней презрительно, чем похвально; она хо-

От этой невинной улыбки на плоском лице с раскосыми глазами – поразительно детском для взрослого, широкоплечего парня – у Сары как будто что-то сломалось внутри, и в тот день она с мучительным нетерпением ждала, когда же уроки наконец закончатся.

рошо это усвоила, наблюдая за классными дамами в гимназии и прислушиваясь к их разговорам между собой. Впрочем, если сравнивать с теми же классными дамами, румынка выглядит очень хорошо: она стройная, гибкая, с очень тонкой талией; не сутулится и не морщится – на бледном лице только морщинки от возраста в уголках глаз и чуть-чуть обвисли припудренные щеки. Черные волосы – ни единой седой пряди, явно поработал куафер – уложены в безупречную «раковину» на затылке. На губах помада терракотового цвета, в ушах скромные жемчужные серьги, и столь же деликатная нитка жемчуга – на шее, спрятанной под высоким воротником. Юбка, жакет и мантилья доамны Шерпеску темно-серого цвета, отчего она как будто вот-вот растворится в полумраке тесной квартиры.

С ней мальчик лет семи, одетый как маленький взрослый: брюки, жилет, пиджак и широкий галстук; все соответствующего размера и пошито очень искусно, без малейшей экономии при мысли о растущем детском теле. Но его лицо...

Сара уже такое видела: Петру, сторож в гимназии, как-то раз привел с собой сына, который повсюду ходил за ним, не выпуская из рук замызганную игрушку, рассматривал коридоры, картины на стенах, заглядывал в классы – все с одинаковой, неизменной улыбкой. От этой невинной улыбки на плоском лице с раскосыми глазами – поразительно

но детском для взрослого, широкоплечего парня – у Сары как будто что-то сломалось внутри, и в тот день она с мучительным нетерпением ждала, когда же уроки наконец закончатся.

Этот мальчик был таким же, как ей сперва показалось.

Только не улыбался.

- Бунэ зиуа, домнуле Белицки, – начинает румынка. – Ам венит... – Заметив легкую растерянность, с которой портной смотрит на дочь, безмолвно умоляя о переводе, гостя переходит на неплохой русский: лишь акцент выдает в ней иностранку, но все грамматические формы безупречны. – Я пришла, поскольку мне вас рекомендовала госпожа Сусанна Павловна.
- Супруга доктора Дорошевского? – с теплотой уточняет Герш Белицкий, хотя другой такой Сусанны в тех кругах, откуда явилась доамна Шерпеску, нет; все евреи в Кишиневе знают Николая Дорошевского и его жену. – Конечно-конечно! Буду рад вам услужить...

Они продолжают обмениваться любезностями, успевая вспомнить про погоду и природу, но Сара уже не слушает: она смотрит на мальчика, мальчик – на нее. По возрасту ребенок может оказаться как сыном, так и внуком красивой румынки, но при этом он совсем на нее не похож, разве что волосы такие же темные и прямые, однако редкие и прилизанные, словно мокрые. Может, он приемный?..

Но нет, у обоих вдовий пик: значит, все-таки родственники.

- ...Да, такое меня вполне устроит, – заканчивает какую-то фразу доамна Шерпеску и внезапно впервые замечает присутствие Сары. Смотрит ей прямо в глаза, не мигая, и говорит тем тоном, каким тетушка Фейга обращается к молочнику на следующий день после того, как поймала его на продаже скисшего или разбавленного товара: – Выйди с Ионикэ во двор и погуляйте там, пока я не освобожусь. Ему полезен свежий воздух. Ду-те ку дынса, драгул меу. Тотул ва фи бине.

Последние слова она произносит если не с любовью, то с теплотой, но адресованы они, конечно, не Саре. Девочка, толком не успев опомниться, оказывается во дворе. Мальчик – Ионикэ – стоит рядом, и хотя она не осознала те моменты, когда взяла его за руку, а потом – отпустила, правая ладонь кажется горячей и липкой, словно Сара коснулась поверхности, на которой лежал полурастаявший леденец. У господ Шерпеску, конечно, достаточно денег, чтобы в карманах такого дорогого костюмчика можно было таскать леденцы без обертки...

Ионикэ, сунув руки в означенные карманы, без единого слова углубляется в недра двора – медленным шагом, изучающе поглядывая по сторонам. Двор общий, один на всех соседей, и это скорее хозяйственное подворье, чем место для увеселительных прогулок. Когда-то в дальнем углу были качели, привязанные к ветке огромного ореха, растущего за стеной, но они сломались, и никто не стал утруждать себя ремонтом. Сара толком не успела на них покачаться, а теперь ее считают слишком взрослой для подобных забав, в то время как другие дети в доме – совсем младенцы.

Хлам, собранный кем-то для старьевщика и забытый; высокие кусты чубушника, за которыми едва виден уличный туалет; та самая липа. Больше ничего интересного в обозримом пространстве нет, а после утреннего дождя двор к тому же пестрит лужами. Сообразив, что если Ионикэ промочит ноги, достанется ей, Сара устремляется следом за мальчиком, который как раз подходит к самой большой из этих луж.

– Везь? – гнусавым голосом спрашивает мальчик, и Сара знает, как это переводится.

Видишь?

«Ну вэд нимик», – хочет сказать она – «*Я ничего не вижу*», – но осекается, потому что...

Вода в луже мутная, словно ее кто-то потревожил, но ряби на поверхности нет. Серая взвесь клубится, как дым в стекле, не выказывая даже намека на скорое успокоение. Клубится, вьется, порождает ураганы и водовороты – много разных водоворотов, притягивающих взор, пока один из них не становится крупнее и мощнее прочих. Сара смотрит; воронка кружится и продолжает расти. В самом центре открывается пятно черноты, и какая-то часть ее сознания отрешенно подмечает, что оно *намного больше* лужи, больше двора – да что там, в него бы запросто провалился весь дом, а то и весь Кишинев. Но каким-то непостижимым образом девочка одновременно стоит на твердой земле, рядом с румынчиком с раскосыми глазами, плоским лицом и липкой ладонью – и падает, падает в эту черноту, слышит чудовищный рев потока, который вечно низвергается в бездонную пропасть.

– *Скотос эжзотерос*, – произносит чей-то голос, похожий и не похожий на Ионикэ Шерпеску. – *Смотри*.

Сара смотрит, поначалу не понимая, что еще она должна увидеть, а потом вдруг осознает, что поток воды на стенках воронки движется как-то странно – ровными выступающими полосами, испещренными ромбовидным узором. Они темно-серые, и чем дольше девочка смотрит, тем сильнее ей кажется,

что это не вода, а сталь; полированные пластины, отливающие синевой, приложенные друг к другу так, что и лист бумаги не пройдет. Витки вокруг нее, эта бесконечная спираль, уходящая во тьму, похожи то ли на машину, до которой не додумался даже Жюль Верн, то ли на...

Тело?

Стоит об этом подумать, как из самого центра тьмы выныривает голова громаднейшей рептилии: треугольная, покрытая все той же стальной чешуей, с тремя рубиновыми глазами, рассеченными надвое веретеницами зрачков, и с оскаленными желтыми клыками, меж которыми вьется раздвоенный язык цвета фуксина, и самый маленький клык размером превосходит старую липу, растущую у нее под окном.

Мысль о чем-то знакомом, близком и не страшном, причудливым образом помогает прийти в себя. Сара осознает, что на некоторое время перестала дышать, от чего сердце устало колотится в груди, как измученный узник, требующий выпустить его из темницы, шумит в ушах и как-то странно болит в затылке – будто жжется. По мышцам рук и ног пробегают волна за волной судорога. Она растерянно озирается в поисках чего-то еще понятного и простого, натывается на плоское лицо Ионикэ.

– Ай везут? – тихо спрашивает мальчик. – *Ты видела?*

– Да... – выдыхает Сара и морщится, вспоминая нужное слово. – Ачяста а фост ун... балаур?

Дракон.

Мальчик качает головой и произносит слово – простое слово, знакомое слово, очень похожее на то, которое она совсем недавно мысленно сама произносила, и все-таки слышать его в таких обстоятельствах так странно, что Сара несколько раз переспрашивает.

– Змеу, – повторяет Ионикэ. – Ел ну есте ун балаур, ну аре арипъ. Есте ун Змеу.

А потом, как будто в тумане, из дома выходят доamna Шерпеску и Герш Белицкий – неужели так много времени прошло, что с примеркой и прочими портновскими делами покончено? – и румынка, любезно попрощавшись с портным и его *фейгеле*, выходит на улицу, где ее, оказывается, ждет извозчик.

У ворот Ионикэ оборачивается напоследок, смотрит Саре прямо в глаза.

Улыбается.

И от его улыбки она наконец-то – почти с радостью – теряет сознание.

Вечерняя прохлада закрадывается в дом через каждую щель и, кажется, просачивается через все поверхности. Пуховое одеяло давит свинцовой тя-

жестью и совсем не греет: руки и ноги Сары превратились в ледышки, противно ноет внизу живота. Похоже, она все-таки заболела.

– Это не болезнь, – говорит сидящая рядом Фейга, словно прочитав мысли племянницы. – Просто ты стала... немного взрослее.

О подробностях того, что случилось сегодня, Саре совсем не хочется вспоминать, но привычка выполнять все упражнения в учебнике и подыскивать ответы на все вопросы в списке не позволяет окутаться жутковатый во всех смыслах день кисеей блаженного забытья.

– Теперь так будет каждый месяц?

– Через некоторое время – да, – подтверждает Фейга, пристально глядя на нее. Тетушка лучше всех, кого знает Сара, умеет напускать на себя грозный вид, и ее черты к этому располагают: огромные черные глаза под бровями вразлет и нос с легкой горбинкой напоминают о хищной птице, о ястребе, сидящем на столбе ограды и обзревающим свои поля с земли почти с той же легкостью, как и с небес. Черные волосы с яркими белыми прядями – по словам отца, Фейга посела в тот год, когда от холеры умер ее жених; а с ним и мама, которую Сара совсем не помнит, и еще много кто, – всегда чуть-чуть растрепаны, как их ни причесывай, и от этого кажется, что тетюшку вот-вот подхватит ветром и она взлетит. – Так устроены женские тела. Вам же вроде бы преподают основы медицины? Ничего на эту тему не рассказывали?

Сара морщится и пожимает плечами.

– Девочки смущаются от рассказов госпожи Водозовой про анатомию... поэтому мы просто учимся накладывать повязки куклам и друг другу. Да к тому же нечасто – эти уроки постоянно заменяют на что-нибудь другое.

– Столь же бесполезное, видимо, – фыркнув, отвечает Фейга. – Ну ладно. Самое главное я тебе уже объяснила, и ты всегда можешь задать мне любой вопрос о теле, взрослении... о любви.

– Тетя! – со смехом вскрикивает Сара и, вынырнув из-под одеяла, легонько шлепает Фейгу по плечу. Та смеется, явно довольная тем, что настроение девочки изменилось к лучшему, и тут Сара решает разобраться с последней деталью произошедшего, которая беспокоит ее, как слишком глубоко вонзившаяся заноза. – А вот это... ну, то, что происходит каждый месяц... бывает так, что оно вызывает видения?

– Видения? – переспрашивает Фейга, и что-то в ее хищном лице неуловимо меняется.

Теперь дороги назад нет. Сара рассказывает все без утайки.

Когда Герша Белицкого спрашивали, почему его еще достаточно молодая и, пусть не особо красивая, все-таки не уродливая и не калечная сестра не выходит замуж, он печально улыбался и говорил, что некоторым птицам в неволе жить не судьба. После смерти Хаскеля Вайсмана – студента-медика, который в меру сил пытался бороться со злополучной вспышкой холеры, унесшей в итоге полтора десятка жизней, включая его собственную, – несостоявшаяся госпожа Вайсман как будто утратила всякий интерес к замужеству и успела дважды отказать новым женихам еще до того, как обстоятельства заставили ее, Герша и маленькую Сару покинуть старый семейный дом в Бердичеве и навсегда забыть его адрес. В каждом городишке Киевской губернии, куда их заносила судьба, Фейга бестрепетно бралась за любую работу, позволяя брату все свободное время уделять совершенствованию своих портновских навыков. Когда у Герша завелись деньги и нужда мыть полы в учреждениях и служить санитаркой отпала, Фейга обучилась стенографии; потом год или около того посещала высшие женские курсы в Киеве и сама стала лучше зарабатывать, хоть и не посвящала брата в подробности своей необычной, слегка сумбурной жизни – даже с друзьями не знакомила, твердя, что у них не будет общих тем для разговоров, но, тем не менее, переживать совершенно не о чем.

Он ей верил. Разве могло быть иначе?

– Перед тем как все происходит, – задумчиво говорит Фейга после паузы, следовавшей за сбивчивым рассказом Сары про странный сон и еще более странное видение в луже во дворе, – женщины иногда могут чувствовать себя необычно. Со всеми по-разному: одна мучается от мигреней, другая становится очень раздражительной, третья рыдает над каждой сорванной зря былинкой и в придачу над собственной якобы погубленной судьбой. Ты же любишь фантазировать – да, Сара, не спорь с очевидным фактом. Возможно, твое живое воображение обратилось к этой сказке...

– Сказке? – перебивает девочка, краснея. – Какой еще сказке?

И Фейга рассказывает – не сказку, она ненавидит сказки всех народов мира, вместе взятых, – на ходу выкраивая из собственных воспоминаний и вычитанных в философских книжках умных мыслей пестрое, но крепкое полотно: змей предстает на

И Фейга рассказывает – не сказку, она ненавидит сказки всех народов мира, вместе взятых, – на ходу выкраивая из собственных воспоминаний и вычитанных в философских книжках умных мыслей пестрое, но крепкое полотно: змей предстает на нем чудовищем, чей смысл существования сводится к краже девиц, которых потом спасает царевич, рыцарь или – в местной версии – богатырь Фэт-Фрумос.

нем чудовищем, чей смысл существования сводится к краже девиц, которых потом спасает царевич, рыцарь или – в местной версии – богатырь Фэт-Фрумос. Тетушка не скрывает своей неприязни к пассивным девицам, и в целом ее мнение о сказках такого рода никак не назовешь снисходительным.

- А разве девушек воруют не драконы? Как их тут называют, *балауры*?
- Сама подумай, зачем *балауру* девушка, – с кривой улыбкой отвечает Фейга. – На завтрак? На обед или ужин? Нет, в этом смысле все чуточку хитрее устроено: Змей, даром что чешуйчатый гад, внешне напоминает человека. Только с тремя глазами, как тебе и привиделось. То ли у болгар, то ли у сербов есть поверье, что от Змея иной раз рождаются крылатые дети со всякими необычными способностями...

Саре не интересно слышать про детей Змея, какими их представляли себе болгары и сербы; ее настроение снова портится. Она никак не может поверить, что просто запуталась в собственных

воспоминаниях, что на самом деле слышала такую сказку и ее обеспокоенный приближением *этих дней* разум выдал свою, переделанную версию. Что-то не вяжется в объяснении Фейги.

– Но как же лужа?

- О, с лужей все еще проще. – Тетушка небрежно машет рукой. – Помнишь, ты в ноябре читала «Низвержение в Мальстрем» и с восторгом его мне пересказывала? Воронка невероятной глубины, вращающиеся стены, бездонная пропасть – все сходится!

Ничего не сходится, однако у Сары пропадает всякое желание доказывать Фейге, что та ошибается. Пренебрежение, которое демонстрирует тетушка относительно ее страхов, вызывает смутную обиду, словно она не стала «немного взрослее», а наоборот, вновь превратилась в малышку, чье мнение взрослым не указ, если оно не касается кукольных нарядов или цвета леденца на палочке. Ход мыслей Фейги, такой холодный и рациональный, ее раздражает.

Так или иначе, час уже поздний, и хоть Фейга вместе с Гершем заверили Сару, что на занятия она завтра не пойдет, привычки и предыдущая беспокойная ночь берут свое: она начинает зевать, голос тетушки доносится будто сквозь вату, и чары сна вынуждают стены маленькой комнаты причудливым образом раздвинуться, превращаясь в подобие королевской спальни.

Сара засыпает.

Приходит Змей.

Он по-прежнему трехглаз и окутан туманом, в котором посверкивают три кроваво-красных глаза и лишь изредка мелькает то серебристо-серая кожа, покрытая чешуей, то длинные пальцы, такие же серые и когтистые. Его движения исполнены сверхъестественной плавности, как будто в теле – с виду как раз вполне человеческом – суставов на порядок больше положенного или попросту нет костей. Узкая девичья кровать Сары превращается в огромное ложе из черного дерева, под балдахином с тонкой и блестящей, словно металл, вышивкой: сине-зеленые, хаотично разбросанные павлиньи перья, но в центре каждого глаза на пере – веретено зрачка. На спинке изножья неподвижно сидит птица, силуэт во тьме; то ли сокол, то ли ястреб. Постель – чернейший атлас; такая же гладкая, скользкая рубашка холодит ей кожу.

Мраморный пол блестит, словно лед цвета полуночи; дальние углы и потолок громаднейшего помещения теряются во тьме, но Саре кажется, что там есть фигуры еще на полтона темнее, и они движутся.

Змей ходит кругами на расстоянии, быть может, десяти шагов от ложа – поскольку вокруг больше ничего нет, трудно сказать наверняка. Может, на самом деле он великан и их разделяет верста. Может, если сойти с этой проклятой кровати на черный пол, она рухнет сквозь него и проснется.

Или нет.

– Я так долго тебя искал. – Змей повторяет ту же фразу, что и в прошлом сне. Голос у него приятный – низкий, обволакивающий, – и Сара, содрогнувшись всем телом, внезапно понимает, что вот-вот начнет погружаться в атласную гладь простыней, словно муха в чернейший мед. – По пустыням царств древних шел я за тобой. Вдоль рек вавилонских шел я за тобой. Там, где костры пылали, искал я тебя... И вот ты здесь. Ты, для которой время и пространство – не преграда.

«Кто ты такой?» – хочет спросить Сара, но голос подводит, и остается лишь сидеть молча, внимательно следить за туманной фигурой Змея, которая, к счастью, не приближается. Ему как будто что-то мешает.

– Ты не такая, как все, – продолжает Змей. – Ты умнее всех, ты красивее всех, отважнее всех, и у тебя есть великий дар. Идем со мной. Иначе ты в этом городишке просто зачахнешь.

Происходящее совершенно не похоже на сон или – как там выразилась Фейга? – плод *живого воображения*.

– Я не хочу здесь быть, – наконец удается ей выговорить. – Отпусти меня.

Змей, однако, не слышит ее слов или просто их игнорирует. Он продолжает размеренное движение по кругу, словно деталь механизма, о чьем смысле и предназначении можно только догадываться. Взмахивает рукавом просторного одеяния, переходит на совершенно незнакомый Саре язык, звучащий так, словно каждое слово – гвоздь, который пытаются вбить прямо ей в затылок, и, к счастью, производит лишь несколько коротких фраз. Потом он вновь переходит к уговорам и посулам.

– Я хочу увенчать тебя короной из черных бриллиантов. Хочу подарить тебе веер из ангельских перьев и накидку из шкуры звездного зверя. Если пожелаешь, вся Вселенная ляжет пред тобой, как книга, и ты решишь, открыть ее или бросить в очаг. Мне подвластен мир зримый и незримый, от подземных черных океанов до хрустальных небесных сфер. И все это может стать твоим...

Смотреть на него становится больно, и Сара переводит взгляд на пол, который уже не черный, а прозрачный; миг спустя она проваливается в это

прозрачное пятно, не телом, а чем-то неосязаемым – разумом? душой? – и ее взгляду открывается картина, причудливая в своей банальности. Она видит поселок с двухэтажными, одинаковыми домами из красного кирпича, от одного взгляда на которые ее почему-то тошнит и бросает в дрожь, хотя они с виду совсем не страшные. Их, быть может, десятка два, расположены они ровными рядами, и по краям застроенного пространства виднеются другие здания. На улицах нет ни души, единственный признак жизни – далекий лай собак.

Вокруг этого странного места – высокий забор, и над воротами имеется надпись, но поскольку Сара видит ее изнутри, шиворот-навыворот, да к тому же всего лишь на долю секунды, она не успевает ничего прочитать. Лишь на самом дне разума остается смутное ощущение, что это была какая-то цитата.

Сон во сне обрывается быстро и резко, вызывая новый приступ тошноты, с которым непросто справиться. Сара смотрит на Змея, который теперь стоит слева от ложа, на расстоянии все тех же десяти – или более – шагов, и три его красных глаза пристально глядят на нее из тумана.

– Идем со мной, – говорит Змей. – Стань моей женой.

По сравнению с увиденным, с этими бараками из красного кирпича, от которых веет жутью, предположение кажется до такой степени нелепым, что Сара, не успев совладать с эмоциями, совершает единственный поступок, по поводу которого отец когда бы то ни было ее предостерегал: «Так нельзя поступать на людях».

Она запрокидывает голову и громко, от всей души хохочет.

* * *

Ты идешь вперед, и улица впереди покрыта снегом, хотя сейчас теплый апрель и в воздухе витает аромат цветущей акации. Снег повсюду: на обломках мебели и обрывках одежды и занавесок, на обгорелых останках священных книг и свитков, на устремленных в небо пустых глазах трупа с вывороченной нижней челюстью.

Из дверей разгромленного магазина выбегает молоденький перепуганный приказчик, спотыкается и падает лицом в грязь. Следом за ним выскакивают двое, трое, пятеро с треугольными мордами и дубинками, начинают его бить куда попало, но большей частью – по голове, по лицу. Один тыкает дубинкой прямо в рот, и сквозь вопль мучительной боли отчетливо слышен хруст выбитых зубов и ломающейся кости.

Сара стискивает зубы, сдерживает рвущийся на волю стон: это какое-то безумие! Почему ее окружают сплошные змеи? Она не удивится, обнаружив гадюку в своей постели, и даже в самом слове «обнаружить», оказывается, притаился ползучий, пусть и безобидный, но все равно гад.

как воплотить идею в жизнь, не испортив дорогую ткань.

– Она хорошо заплатит? – машинально спрашивает Сара.

Герш впервые смущается и чешет переносицу полусогнутым указательным пальцем, безуспешно пытаюсь скрыть эмоции. А потом честно пересказывает еще один отрывок разговора с Шерпеску, на этот раз не своими словами, но как можно точнее повторяя ее фразы, чей смысл довольно загадочен.

«Понимаете, домнуле Белицки, для меня это очень важно. Я не поскжуплюсь; главное, чтобы у вас все получилось».

«Да, я это уже принял во внимание. Но и вы помните: я не могу работать, не зная, сколько мне заплатить».

«Я уже сказала: столько, сколько вы захотите».

«Но так не принято!»

Рассмеявшись, она потянулась к кошельку.

«Ну хорошо, домнуле Белицки. Вот вам в качестве аванса... хм... триста рублей, я думаю, сумма вполне достойная. Но мое обещание остается в силе: если вы сумеете выполнить заказ, с которым не справились четверо портных только за последние полтора года, вам останется лишь озвучить свои желания. Они воплотятся в жизнь – и сможете больше не ра-

ботать. Да, мои возможности в некотором роде бес-пределльны».

– И ты согласился?

Герш пожимает плечами. Сара не сомневается в честности отца, он не возьмет с румынки больше, чем стоит его труд, но сумма аванса сама по себе велика... Где-то тут кроется подвох.

Ты об этом пожалеешь.

– Мое ремесло таит в себе определенные риски, – говорит Герш. – Но сама посуди: у нее и ее супруга репутация достойных людей, я проверял. Она доверила мне эту ткань, можешь не сомневаться, тоже весьма дорогую. И ее заказ действительно отличается трудностью – она сказала, один модельер из Вены так замучился и расстроился из-за этого платья, что... хм... ну, в общем, он умер.

– Рассчитываешь на успех?

– Рассчитываю на деньги, – отвечает отец. На его лице, некрасивом и большую часть времени довольно-таки унылом, мелькает тревога, которую Сара заметила вчера. Помедлив несколько секунд, словно взвешивая все за и против, он прибавляет: – Они нам не помешают. Возможно, скоро придется отсюда уехать.

От потрясения Сара теряет дар речи: просто смотрит на отца, приоткрыв рот, что даже по меркам их необычной семьи считается нарушением приличий. В этом доме на улице Шмидтовской они живут пять лет, и предыдущие переезды успели сплавиться в ее воспоминаниях в одно большое, суматошное и пугающее событие. А как же гимназия... ее подруги, и даже классные дамы, пусть на них и принято ворчать... ее книги – вся семейная библиотека, которая за прошедшие годы росла, как тесто под полотенцем! Уехать с этих извилистых пыльных улиц, где еврейская, румынская и русская речь звучит так легко и привычно, где цветет липа под окном, где Сара знает по имени всех обитателей длинной Шмидтовской и большинства окрестных кварталов...

Все равно что отрубить себе руку.

– Держи. – Пошарив по другую сторону от кресла, отец достает и протягивает ей стопку газет. – Прочитай отмеченное, а потом мы это обсудим. И не переживай заранее – может, обойдется, если же нет... В Европе множество хороших школ, знаешь ли. И еще есть Америка. Иногда я думаю про Сан-Франциско. Раз уж мы иной раз не в силах остаться, можно хотя бы выбрать путь.

И он снова устремляет взгляд на тетрадь с заметками, лежащую на коленях поверх другой такой же тетради и книги, как теперь видит Сара, по ис-

тории костюма. Это выражение лица ей знакомо, оно означает «Теперь я должен поработать».

Она забирает газеты – и видит, что сверху опять «Бессарабец», примерно двухнедельной давности.

И вновь одна заметка обведена красным карандашом.

...*Пожалеешь.*

Сара знает: с такими, как они, все непросто, и так было испокон веков.

Ну... практически.

Их семью не назовешь религиозной: Герш в синагоге бывает раз в году, а Фейга язвительно хмыкает при любом упоминании обрядов, правил и всего такого, но каждый год перед Песахом – разумеется, *совершенно случайно* – устраивает генеральную уборку, и также *случайно* из дома пропадает вся некошерная еда, и еще *кто-то* забывает на праздничном столе бокал вина для пророка Илии. Сара, конечно, лишь недавно осознала, почему противоречия между словами и поступками тетюшки забавны, однако праздник ей нравится, мацу, марор и харосет она любит, не говоря уже про гефилте фиш, да к тому же сомневаться в решениях и авторитете Фейги... нет, даже пробовать не стоит.

«Бог есть, – сказал отец как-то раз в ответ на ее робкий вопрос. – Он есть, это точно. А христианский он, иудейский или еще какой-то – не знаю, и, думаю, это не моего ума дело. Мне бы иголки не растерять да пуговицы не перепутать».

Однако не все евреи согласились бы с Гершем Белицким в этом вопросе и в том, как именно следует почитать Б-га – многое из того, что он говорил и делал, для них было *бизайон*, святотатство. По этой причине маленькая семья Белицких сделалась чужой для всех: представители других народностей, населявших Кишинев, редко разбирались в нюансах, и евреи для них были на одно лицо с печальными очами и длинноватым носом; пейсы – по обстоятельствам.

Тот факт, что Сара в последний раз видела прочих родственников в младенчестве и всех успела позабыть, тоже был каким-то образом связан с религией, но она бы ни за что не отважилась приставать к отцу или тетюшке с расспросами.

Итак, жизнь евреев была сложной, и Белицкие сполна испытывали на себе эти сложности. Герш зарабатывал достаточно, чтобы переселиться в один из более престижных кварталов по другую сторону Александровской улицы, но не стал этого делать, потому что там, как он выразился, был *совсем другой птичник*, и на выскочку-портного смотрели бы

с ненавистью и презрением, пусть он и не стал бы первым евреем, осмелившимся перейти Рубикон. Время от времени на Шмидтовскую забредали подозрительные молодчики; кому-то разбивали витрины или рисовали на дверях и стенах гадости; на Новом рынке и площади с каруселями часто дрались и кричали друг другу обидные слова. Но все-таки жизнь в Кишиневе казалась достаточно тихой, чтобы обмануть самих себя, убаюкать заверениями в том, что все хорошо – было, есть и будет.

Что же теперь?

Сара читает отмеченные красным абзацы, и ее бросает то в жар, то в холод. На страницах газеты евреи – а с ними и она сама – предстают злыми, лживыми, продажными тварями, ради выгоды способными на любые мерзости. Изготовить «вино» из растворенной в воде, подкрашенной фуксином патоки или бузины? Пожалуйста. Сговориться с другими мошенниками, чтобы половчее водить за нос ни о чем не подозревающих иноверцев, даже страждущих и больных? Запросто! Почему-то именно эта заметка вызывает у Сары особенно сильный гнев: всем известно, как преобразилась Еврейская больница под руководством доктора Слуцкого, и винить его соратников в каких-то там *заговорах* – подло! Но «Бессарабец» на этом не останавливается, изливая со своих страниц все новые поводы для ненависти к народу, лишенному родины, – причем чаще всего делает это исподволь, будто бы между строк, словно подбрасывая доверчивым рыбкам вкусное угощение на блестящем и остром крючке.

Самые жуткие вещи, однако, ждут Сару в мартовских номерах. История о некоем подростке из Дубоссар, убитом еврейским лавочником ради *крохи для мацы*, кажется верхом бреда даже ей, тринадцатилетней девочке... но, с другой стороны, она-то знает, как готовят мацу, в отличие от большинства читателей «Бессарабца». Череда намеков и многозначительных подмигиваний, адресованных простым местным жителям, сменяется прямыми обвинениями в чудовищном – и к тому же чудовищно абсурдном – преступлении.

Не в силах усидеть на месте, Сара выскакивает из комнаты с газетой в руках, собираясь ворваться к отцу, пусть тот и будет недоволен, но наткнется на Фейгу, которая как раз входит с улицы с полной корзиной покупок. Сверху лежат несколько газет.

Увидев бледное и дрожащее лицо племянницы, смятый номер «Бессарабца» в ее руке, тетюшка мгновенно понимает, что произошло. Со странной кривой улыбкой она прикладывает палец к губам –

понимает: как вороненое дуло. А сама она будто стоит на краю той ямы из ночного видения.

В какой-то момент повернувшись резче обычного, она замечает движение за шкафом с противоположной стороны комнаты и решительно делает шаг в его сторону, а потом осознает: шкаф стоит вплотную к стене, за ним не спрятался бы и ребенок.

Шевеление происходит не *за* полками, а *на* одной из них.

Шевелится заспиртованная черная змея в большом стеклянном сосуде, закупоренном пробкой; витки ее тела тянутся, завязываются сложным узлом, из центра которого в конце концов выныривает треугольная башка с красными глазами и раздвоенным языком. Цок! От тычка изнутри сосуд слегка покачивается, хотя он стоит далеко от края, и такого удара явно недостаточно, чтобы свалить стеклянную тюрьму на пол. Змея замирает, как будто размышляя, а потом опять завязывается в узел.

Приступ рвоты накатывает стремительно, как прилив у горы святого Михаила, что на севере Франции, и потом Сара еще минуту-другую отупело глядит на мерзкую лужицу, понимая, что надо отыскать ведро и тряпку, прибрать после себя. Но сперва она решает отнести карты в кабинет, где задалась Кенигшац, и там честно признается, почему должна снова уйти с урока. Дама, против всех ожиданий, ее не отчитывает, а окидывает изучающим взглядом с ног до головы, жестом велит занять свое место и, выйдя в коридор, зовет Петру.

От облегчения Саре хочется плакать.

...Пожалеешь.

Дома она ничего не рассказывает, и вопросов ей не задают: Герш занят заказом Шерпеску, а Фейга, наскоро приготовив ужин, углубляется в чтение каких-то бумаг, бросив мимоходом, что ей нужно подготовиться к завтрашнему собранию с *товарищами*. Вид у нее при этом делает очень серьезный и даже мрачный. После вечерней трапезы, однако, отец и тетя смягчаются, добреют, начинают рассказывать всякие смешные истории из прошлого, как известного Саре, так и более далекого, после чего Герш вдруг решает поведать им любопытную вещь, по его словам, объединяющую портновское мастерство с высоким искусством. Он вычитал в одной из своих книг, что волнообразно изогнутая линия, похожая на латинскую S, служит воплощением гармонии и красоты у самых разных культур, большей частью европейских. Она выражает движение, жизнь, в то время как прямая линия символизирует застой и даже смерть. Герш сыплет фамилиями мудрых итальянцев и англичан, потом начинает рассуждать

об изгибах женского тела, которые его новое платье будет безукоризненно подчеркивать, усиливая тем самым гармонию, а Сара, вспомнив несколько известнейших картин эпохи Возрождения, чьи репродукции им показывали на уроках, с содроганием понимает: он прав. Змеи притаились повсюду. В поворотах изысканных шей, в руках красавиц и крыльях ангелов... и даже в очертаниях перил красивой барочной лестницы, ведущей на второй этаж в здании гимназии сестер Гинкуловых.

Она кусает себя за щеку до крови, чтобы как-то объяснить слезы, выступившие на глазах чуть раньше.

Ночью приходит Змей, но не пытается ничего сказать или приблизиться – просто стоит и смотрит, и Сара каким-то образом сквозь мутный покров *ощущает* его улыбку, острую, словно нож. Помедлив, птица распахивает крылья, и Змей исчезает. Приходит новое видение: Сара идет по узеньким улицам совершенно незнакомого города под тусклым северным небом и повсюду видит измученных, оборванных людей, которые, кажется, ночуют на улице. На остатках их одежды виднеются нашивки с каким-то символом желтого цвета, но Сара почему-то не может как следует рассмотреть его форму. Она проходит через несколько домов, заглядывая во все двери подряд, и везде видит одно и то же: в помещениях размером чуть побольше ее комнатки обитает в пять, в десять раз больше людей, чем следовало бы. Все они заняты какими-то делами и, невзирая на скорбные изможденные лица, явно не находят происходящее странным. В отличие от Сары – это видение кажется ей еще более бессмысленным и загадочным, чем предыдущие. Почему эти люди живут – и это даже трудно назвать жизнью – в подобной тесноте? Ведь это же обычный город, а не какая-нибудь тюрьма...

В памяти вертится какое-то слово, древнее слово, горькое слово.

Сара не может его вспомнить и погружается в сон, не приносящий отдыха.

В пятницу после занятий она помогает Фейге с домашними делами, ходит с тетей на базар, в булочную и к мяснику. Потом Фейга решает заглянуть в аптеку Бабича и купить какой-то новый французский порошок от мигрени; Сара остается снаружи, ждет. На стекле витрины нарисована эмблема: змея – или Змей? – и чаша. Сосуд Гигеи. Пресмыкающееся с тихим шипением поднимает голову над краем, высовывает трепещущий язык, смотрит на Сару, явно смотрит, пусть и остается плоским. Она сглатывает, закрывает глаза, но продолжает слы-

У него темно-серая кожа, местами отливающая синевой, местами – зеленью; рисунок чешуи просматривается там, где она натянута ту же всего. Скулы широкие и острые, рубиновые глаза утопают в озерах черноты, что простираются до выступающих надбровных дух. Вместо носа – две вертикальные щели, и над ними, посреди лба, сияет третий глаз; впрочем, может быть, это подлинный рубин, каким-то образом прикрепленный к коже.

шать шипение, которое постепенно заглушает все прочие звуки.

Шшшшш...

Во тьме перед ее внутренним взором проносятся образы, старые и новые: люди-скелеты, трубы, из которых валит мерзкий дым, прилично одетые мужчины и женщины с кожей цвета дыма и черными глазами. Они открывают рты, но раздается все то же шипение.

Шшшшш...

Потом кто-то трясет Сару за плечи, воздух обретаем едкий запах нашатыря, и она с трудом разлепляет веки. Ее ждет сюрприз: она не возле аптеки Бабица. Она дома, лежит на отцовском диване, одетая; вокруг полным-полно людей с встревоженными лицами – бледный как полотно отец, неузнаваемая то ли от беспокойства, то ли от ярости Фейга, какие-то чужие мужчины, Рахиль Коган и Ита... Что случилось? Она упала в обморок на улице. Ее принес

один из чужаков, стекольник Гриншпун, который как раз шел мимо и увидел, что одной барышне плохо, а другая – то есть Фейга – не может ее поднять.

Второй чужак – мужчина лет пятидесяти, с круглым, очень спокойным лицом. Он как раз кладет в свой черный саквояж склянку, которую только что подносил к лицу Сары, и что-то говорит про переутомление. Фейга непривычно высоким голосом и почти без пауз обещает позаботиться о том, чтобы ее племянница как следует отдохнула на следующей неделе, раз уж все равно праздник, а Герш кивает. Вот уж кто точно переутомился, вот уж кто будет трудиться до последнего, а потом упадет, только не без чувств, а замертво, но об этом сейчас не говорят. Сейчас говорят только о Саре, и от царящей вокруг какофонии она внезапно начинает горько плакать, зажав уши ладонями.

Доктор пытается ее успокоить, и Фейга пытается ее успокоить, и отец. Ну что же ты плачешь, Фейгеле? Все хорошо, мы с тобой, и Моисей Борисович с тобой, и даже Мордко, и Рахиль с Итой, видишь?..

Ты об этом пожалеешь.

Она засыпает в слезах.

Приходит Змей.

Поначалу кажется, что ничего не изменилось, что он стоит на прежнем месте и выглядит так же, как и в прошлый раз, но... Тряхнув плечами, он сбрасывает бесформенную хламиду и оказывается одетым во фрак, словно собрался в оперу. Из рукавов с белоснежными манжетами высовываются чешуйчатые шестипалые руки с перепонками между пальцами, с длинными когтями. Туманное облако, до сих пор скрывавшее его лицо, рассеивается, и Сара наконец-то видит Змея целиком.

У него темно-серая кожа, местами отливающая синевой, местами – зеленью; рисунок чешуи просматривается там, где она натянута ту же всего. Скулы широкие и острые, рубиновые глаза утопают в озерах черноты, что простираются до выступающих надбровных дух. Вместо носа – две вертикальные щели, и над ними, посреди лба, сияет третий глаз; впрочем, может быть, это подлинный рубин, каким-то образом прикрепленный к коже. Рот безгубый, почти незаметный, когда закрыт; подбородок остренький, слабый. Лицо – или все-таки морда? – имеет отчетливо треугольную форму.

– Тебе придется принять решение. – Змей делает шаг вперед и мгновенно увеличивается в росте в полтора раза; по самым скромным прикидкам, еще на полпути к черной кровати он сделается настоящим великаном, а когда доберется до

нее – сможет раздавить Сару одним пальцем. – Я не приму отказа. Знаешь, что бывает, когда мне отказывают?

Он щелкает пальцами, и те самые тени во тьме, что прячутся в дальних углах зала, на секунду становятся видимыми. Сара видит: прикованные к стенам полуразложившиеся трупы, чьи кости прорастают сквозь плоть черными шипами; вплавленную в камень верхнюю половину тела, чьи плечи, по которым рассыпались густые волосы, еще подрагивают от судорог; другие тела – пронзенные насквозь, повешенные за волосы, за руки, за ноги, сросшиеся с машинами, предназначенными для пыток, привязанные к столам, над которыми склоняются безликие фигуры в хирургических халатах. Пустой желудок скручивается в болезненный узел от приступа сухой рвоты; рот наполняется желчью.

– Ты поняла?

Да, она поняла.

Змей кивает и исчезает; встреча завершается.

Лишь в последний миг перед истинным пробуждением Сара понимает, что на этот раз с ней не было птицы.

* * *

Ты идешь дальше, обозревая город, покрытый кровоточащими ранами, и видишь все новые картины, одну за другой.

Вот госпожа Кенигшац встает на пути погромщиков, встает в дверном проеме, раскинув руки, и смотрит на них поверх очков, как на нерадивых учеников.

Вот чей-то дом с иконами в окнах – их немало, таких домов, затаивших дыхание, – но людей в нем набилось явно больше, чем могло бы жить, и часть из них безмолвно, сосредоточенно вооружается чем попало. Они начинают понимать, что символы помогают не всегда.

Вот еще один, без икон – невысокий, крытый черепицей, по соседству с небольшой площадью, чуть выдающийся в нее, словно мыс на побережье, – и таким ужасом веет от него, что ты отворачиваешься, закрываешь глаза.

«Ита, Ита! – кричит Рахиль Коган. Звенит разбитое стекло, крик переходит в рыдания. – Ита-а-а...»

Ты идешь дальше.

* * *

Фейга высыпает купленный в аптеке Бабиचा порошок в чашку с теплой водой, запавшими глазами

смотрит, как он медленно растворяется, а потом выпивает одним глотком, запрокинув голову. Сара внезапно замечает, что тетя выглядит очень бледной и не столько уставшей, сколько больной.

От расспросов никакого толка: Фейга лишь отмахивается и заявляет, что к праздничному ужину, седеду, они будут готовиться вместе, поскольку времени осталось совсем мало, а она не успела купить и сделать все необходимое. Девочка с радостью соглашается, и чередой простых домашних дел творит чудо: на какое-то время она полностью забывает про Змея и ужасы, которые он ей показывал в своем черном дворце. Фейга не дает ей об этом вспомнить, постоянно отвлекая то поручениями, то рассказами о предстоящем празднике, полном глубокого символизма. Они аккуратно моют хрустальные бокалы, и Фейга, обнаружив в одном трещину, хмурится и достает еще один, запасной. Во время седеды хрусталь наполнится вином цвета крови, думает Сара и вздрагивает, вспомнив убитого мальчика из Дубоссар. Хоть евреи и оказались ни при чем, эта история не так проста, как кажется, – и, наверное, она еще не закончилась.

– Помнишь, что такое харосет? – спрашивает Фейга, словно заметив, что по лицу племянницы пробежала тень. – А что означают марор и хазерет?

Сара начинает рассказывать, в кои-то веки не возражая против того, чтобы своеобразный экзамен тянулся, тянулся... да хоть много часов. Или дней. Они достают еще один предмет, который используется в доме один раз в год: тяжелую серебряную кеару с начертанными на древнем языке словами. Сара ведет пальцем по угловатым буквам справа налево и внезапно начинает толковать их на свой лад: вот они, обмазанные глиной ветхие дома за Старым рынком, в самой бедной части города; вот она, пыль кишиневских улиц, горькая от проглоченных слез смесь свободы и несвободы; вот он, разрушенный храм долгой и спокойной жизни на одном месте, ведь кровь все-таки пролилась... Нет, какой-то странный и неправильный смысл получается. Чтобы скрыть смятение, она задает тетушке первый вопрос, какой приходит в голову.

– Куда бы ты хотела отсюда уехать?

Фейга кладет кеару на стол, аккуратно вытирает, словно не слыша, о чем ее спрашивает племянница. Потом замирает с тряпкой в руках – движутся только ее тяжелые веки, обрамленные длинными ресницами. Она еще такая молодая, думает Сара. Что ее держит здесь, с нами?

Она почему-то не сомневается: Фейга могла бы в любой момент уйти, улететь.

Не открывая глаза, не отнимая рук от краев желтой кеары, Фейга начинает говорить. Тихим, надтреснутым голосом, словно во сне. Сара, втайне ожидавшая услышать нечто похожее на отцовские мечты, которыми он время от времени делится – Вена, Париж, Сан-Франциско, – ошеломленно понимает, что ей рассказывают о пустыне. О бескрайнем просторе под бездонным небом, полным таких звезд, какие нигде больше не увидишь; о песчаном океане, вторящем океану соленой воды; о тысяче оттенков песка – «Ты думала, он желтый? Вовсе нет!..» – и зеленых жемчужинах; о тайных колодцах, дышащих влагой и вечностью.

– Но... почему?

Фейга улыбается краем рта.

– На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его... Впрочем, нет, дело не в этом. – Чуть помедлив, она договаривает: – Может, там меня простят и совершат для меня чудо.

Седер и первые дни Песаха проходят в спокойной, умиротворенной обстановке, как и положено празднику. Змей по ночам не приходит – может, потому, что Сара и Фейга болтают допоздна о разной ерунде, а потом засыпают в обнимку. Ненадолго Сара даже поддается шальной надежде, что каким-то образом существо навсегда покинуло ее сны, ее жизнь, и можно больше не бояться.

Но потом они с Фейгой снова идут на рынок, и кое-что происходит.

На Новом рынке торгуют в основном евреи – так уж повелось. Местные жители из окрестных сел предпочитают приезжать на Старый базар, расположенный подальше, и Сара с Фейгой туда не ходят; здесь, среди знакомых лиц и знакомой речи, им спокойнее, потому что на рынке всегда надо быть начеку. Поначалу Сара опасливо озирается – не объявятся ли змеи? – но аптек в торговых рядах нет, и настойки из ползучих гадов здесь не продают. Они вдвоем идут все дальше, Фейга высматривает нужных торговцев, и внезапно из лавки мясника вылетают сразу трое мужчин, из которых один, судя по фартуку и нарукавникам, и есть хозяин; сцепившись, они падают прямо под ноги прохожим и начинают друг друга мутузить, вопя скверные слова. Точнее, как внезапно понимает Сара, двое бьют одного.

– Мойше! Мойше! – кричит женщина, выбегая следом за троицей дерущихся, а потом начинает звать городского, который должен дежурить где-то рядом.

Это оказывает должное воздействие на тех двоих, которые напали на хозяина; они встают – мясник

остается лежать, держась за челюсть, его подбитый глаз заплывает с поразительной быстротой, – и спешно удирают прочь, придерживая картузы.

Но напоследок один из них оборачивается и свистящим шепотом бросает в собравшихся зевак короткую фразу:

– Царь приказал: на Пасху бить жидов!

Как будто набежавшая туча закрывает мартовское солнце. Толпа шумит, волнуется, прибежавший городской стоит, уперев руки в бока, над мясником и его женой: упав на колени прямо рядом со сточной канавой, та пытается краем фартука стереть кровь с лица пострадавшего. Сара стоит, точно обернувшись соляным столбом, и когда кто-то трогает ее за руку, она не сразу вспоминает, что пришла на рынок не одна. Фейга что-то говорит, но ее слова превращаются в шшшшшш...

У драчуна в картузе вместо лица – змеинная морда. Правда, всего с двумя глазами.

Фейга явно ничего такого не видела, да и остальные очевидцы ведут себя так, как и положено людям, узревшим драку, а не что-то сверхъестественное. Решив, что племянница просто шокирована случившимся, Фейга уводит ее прочь, ласково гладит по руке и по плечу, продолжает что-то говорить, и постепенно к Саре возвращается дар речи и понимания чужих речей. Собрав остатки сил, она притворяется, что пришла в себя; кое-как закончив с покупками, они возвращаются домой без приключений и решают ничего не рассказывать Гершу, который вновь занялся заказом доамны Шерпеску: из ателье доносятся все те же странные звуки, постукивание и скрежет, что бы они ни значили. За ужином все трое молчат.

А на следующий день – в среду – они узнают от Рахиль Коган, как всегда болтливой, но непривычно бледной, – что подобные случаи происходили вчера по всему городу, да и продолжают происходить. Мелкие стычки: расквашенные носы и выбитые зубы, испорченная одежда, обидные слова, сорванные вывески и мерзкие листовки. И вещи посерьезнее: разбитые витрины, украденный товар, сломанные ребра...

«Лавочники на Новом базаре хотят дружину организовать, – сообщает Рахиль. – Потому что все это не к добру... а от городских, как всегда, толку никакого».

Четыре дня город постепенно закипает, словно варево на медленном огне, и к утру воскресенья – в последний день Песаха и первый день Пасхи – грозное бульканье под крышкой не слышит только глухой. Все та же Рахиль Коган сообщает

Сара: на Чуфлинской, где карусели, подрались уже всерьез, а все из-за того, что какой-то гой пожелал прокатиться бесплатно; или, может быть, причина была другая – сейчас уже трудно понять. Разозленная толпа рванула на Новый базар, где ее встретили лавочники с оружием, но тут подоспели полицейские и как-то умудрились уладить дело словами, пообещав базарным старшинам, что не допустят погромов. При этом зачинщиков беспорядка на Чуфлинской площади никто даже не попытался арестовать.

Рахиль просит Сару сидеть дома, а потом они смотрят друг на друга и думают об одном: где же Фейга? Куда она ушла еще рано утром, почему ее до сих пор нет?

Часы текут с мучительной неторопливостью, и в какой-то момент Сара больше не может сидеть в своей комнате; она собирается и выходит. Солнце уже клонится к закату, и кажется, что над городом повисла непривычная, удушливая тишина – словно сейчас не начало апреля, а самый разгар июльской жары, когда даже воробьям не хватает сил чирикать. Однако прорвавшийся сквозь эту тишину посторонний звук вынуждает ее остановиться у ворот, так и не сделав последний решительный шаг на улицу. Она замирает, потом прячется за створку.

Они приближаются.

Сквозь щель в воротах их плохо видно, но Сара не решается даже вздохнуть, чтобы не обнаружить себя. Их не меньше десяти, только мужчины; половина вооружена чем попало – дубинками, отломанными ножками столов и стульев, у одного блестит в руке нож. Судя по одежде, это чернорабочие – те, кто живет на окраине в хибарах или приезжает из окрестных сел, чтобы трудиться на складах, в магазинах и фабриках – везде, где можно заработать копейку, будучи наделенным лишь физической силой. Ну а лица...

Лица, как и у того драчуна на Новом базаре, зменные.

Они проходят мимо. Сара еще некоторое время стоит, прижимаясь к забору, и по ее щекам текут слезы. Потом она плетется обратно домой, еле переставляя ноги, и когда выясняется, что в квартире ничего не изменилось – Герш даже не заметил, что дочь куда-то уходила, – ее охватывают противоречивые эмоции. Да и остальные жители наверняка видели, что она попыталась сделать, но предпочли отсиживаться в своих норах. На ум идут неприличные слова, но это все от бессилия. Так она мучается до наступления темноты, когда к воротам подъезжает извозчик, слезает с облучка и вместе

с одним из пассажиров пролетки тащит на второй этаж другого – точнее, другую.

Тут уж переполох наступает во всем доме, и вездусущая Рахиль выскакивает, чтобы помочь. Фейга бледна как полотно, на лбу у нее повязка, под глазом синяк; правой рукой она то и дело трогает лицо, а левой прижимает к груди сумочку, словно это самое дорогое, что у нее есть. Пассажир пролетки – тут Сара его узнает, это опять доктор Слуцкий, который приехал к ним в тот раз, когда она потеряла сознание возле аптеки, – заводит Фейгу к ним, усаживает в кресло, и шум наконец-то вынуждает Герша Белицкого покинуть ателье. Глядя на отца, чье лицо выражает безграничную растерянность и страх, Сара страшно на него злится, но ни о чем не говорит.

– С ней все будет хорошо, – говорит Слуцкий, видя, что его ни о чем не спрашивают. – Случайно угодила под горячую руку одному... нехорошему человеку. Это просто порез, больничный уход не понадобится. Вы тут как?..

– Все в порядке, – тихо отвечает Сара, когда Герш бросается к сестре.

Слуцкий кивает.

– Будьте осторожны. Мне сегодня в окно кабинета камнем бросили. Я думал, случайно... до последнего пытался сам себя обмануть. Плохи дела. Будем надеяться, обойдется без большой крови.

И он уходит. Сара и Герш укладывают Фейгу в постель, потом девочка отправляется готовить ей чай, потому что хочет хоть как-то помочь, принести хоть какую-то пользу. Когда она возвращается с дымящейся ароматной чашкой на подносе, то еще за дверью слышит, как переговариваются брат с сестрой. Тихий голос Фейги произносит какие-то незнакомые имена: *«Фон Раабен... Левендаль... Устругов – ты же знаешь сам, кем он нас считает... надо что-то делать, Герш»*. Отец что-то отвечает, но говорит еще тише, чем тетушка, и слов не разобрать.

Из ателье доносится какой-то звук.

Медленно опустив поднос на пол, она зажмуривает глаза и говорит себе: это не могут быть змеи, точнее – погромщики с лицами змей. Они бы не сумели забраться на второй этаж так, чтобы никто в доме не услышал, – да и звук на самом деле ей знаком, то самое постукивание, которое она уже много раз слышала на протяжении минувших дней. Это *другая* загадка, и она бы несомненно тревожила Сару куда сильнее, не случись трехглазого гостя с его ночными визитами.

Она понимает, что должна с этой загадкой разобратся.

ствует, как по щекам текут слезы. Она уже не знает, чего ждать.

Змеоайка принимает изысканную позу.

– Уверены, что справились, домнудле Белицки? – Из ее человеческого рта высовывается раздвоенный язык, трепещет перед лицом. – Не надо сейчас меня злить – а попытавшись всучить не то, что требуется, вы именно это и сделаете.

Вместо ответа Герш идет к ней, протягивая картонку. Змеоайка молча ее принимает, открывает, и ее глаза – человечьи и змеиные сразу – широко распахиваются. Она достает нечто текучее, как покрытая рябью стремительная вода, зеленовато-сине-серое, расшитое по краям бусинами, которые блестят в полумраке, словно маленькие звезды.

Без малейшего смущения Змеоайка раздевается – ее одежда просто осыпается трухой, словно старая краска с ворот, – а потом, приложив новое платье к себе, *вливается* в него. Сара успевает заметить, что левым глазом она видит красивое женское тело, а правым... нечто среднее между трупом древней старухи, вздувшимся телом мертвой змеи и черной корягой, пролежавшей в болоте достаточно долго, чтобы покрыться слизью и мхом. Но в наряде, сшитом ее отцом, Змеоайка внезапно делается единой и плотной, а еще стремительно молодеет – теперь с виду она почти ровесница Сары.

Змей одобритительно кивает и манерно хлопает в ладоши.

Платье простейшего, совершенно прямого кроя, без рукавов, сшито из шелка, спрессованного в мелкие складки, благодаря чему от движений оно растягивается, а потом вновь принимает прежнюю форму. S-линия просматривается от плеча к талии так отчетливо, что у Сары на глазах выступают слезы. Ее отец сотворил красоту.

Красоту, чья суть – зло.

– Этот шелк – моя кожа, – говорит Змеоайка, любовно ведя ладонью по ткани. – Теперь та сила, которой я наделена в своем основном облике, будет со мной всегда. Сколько я вам должна, Герш? Вы справились, поэтому можете не скромничать.

– Я и не собираюсь, – тихо отвечает еврейский портной, щуплый и носатый, совершенно некрасивый мужчина, постаревший раньше времени, и впервые смотрит на свою дочь. – Только мы не договорились о деньгах. Вы сказали, что я смогу всего лишь озвучить свое желание, и оно воплотится в жизнь. Отпустите мою дочь.

Все снова меняется в мгновение ока. Саре кажется, что она опять стоит на краю той лужи, где впервые увидела *тьму внешнюю*, и тугие витки змеи-

ного тела движутся прямо у нее под ногами. Рядом раздается шипение, но она не в силах посмотреть на Змея – боится, что поплатится за это рассудком.

– Вы уверены в этом, Герш? – спокойно спрашивает Змеоайка.

– Да.

– Просто... – Она делает шаг вперед, и Сара, оставаясь на краю ямы-лужи, каким-то образом это видит. – Я же не только это сказала.

Она протягивает руку, словно для рукопожатия, и отец, все такой же бледный и решительный, немедленно отвечает тем же.

А потом...

...А потом ты открываешь глаза во дворе еврейской больницы, и вокруг царит чудовищный бардак: кто-то рыдает от горя, кто-то от боли, кто-то бежит туда-сюда в поисках родных и близких, а кто-то их уже нашел, но не может узнать. Доктор Слуцкий в сопровождении помощников бежит из одного отделения в другое, не замечая тебя; глаза у него воспаленные от усталости и как будто заплаканные.

Ты пытаешься себе внушить, что хруст костей тебе померещился, как и все остальное – Фейга, улетающая прочь, отблески пламени на желтоватых клыках и смутное ощущение чего-то непоправимого, жуткого, кровавого.

Ты закрываешь глаза.

Всегда проще выпустить зло на свободу, чем загнать его обратно во тьму внешнюю.

Что теперь сотворит Змеоайка в немислимо прекрасном платье, умножающем ее силу?..

Не замечая ничего вокруг, ты опускаешься на колени прямо в грязь и – сама не понимая, у кого, – просишь, просишь, просишь прощения...

